

ЕВРАЗИЙСТВО КАК УТРАЧЕННОЕ ЗВЕНО ИЛИ НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

А. В. Соболев

В памяти сохранилась такая сцена. Солнечным сентябрём два оболтуса подбрасывают монету. «Если выпадет «решка», едем к Ленке, а если «орёл», то идем в кино». И на замечание прохожего: «А на лекцию когда же?» – звучит залихватский ответ: «А это, когда монета встанет на ребро».

Как это ни ужасно, как это ни горько сознавать, но в 1917 г. России выпал именно такой жребий: монета встала на ребро, т. е. случилось то, что ни по божеским, ни по земным законам не должно было случиться. Это потом историки, задним числом, выстроили вереницу фактов, которые с неотразимой убедительностью «доказали», что иначе и быть не могло. Но при известной изворотливости ума фактами можно подкрепить любую концепцию. Было бы только страстное желание это сделать.

В гуманитарных науках ни о какой жёсткой детерминации речи быть не может. То, что однажды вырвалось на поверхность и попало в событийный ряд, с таким же успехом могло продолжать пребывать в области потенциальности, в некой «подпочве», сообщая определённую окраску историческим событиям, но их не определяя. Скажем, подхватившего банальный грипп здоровяка может довести до могилы специально устроенный сквозняк во время его сна. Но уже спустя неделю этот сквозняк был бы ему не страшнее комариного укуса.

Смертельный «сквозняк», погубивший императорскую Россию, специально подстроила верхушка кадетской партии. «Покаянное» письмо Павла Милюкова председателю ЦК этой партии Павлу Долгорукову опубликовал бывший глава студенческой фракции кадетов в Московском университете Е. А. Ефимовский, о чём он упоминает в своей статье, позднее перепечатанной в его сборнике, где он сообщает также о переполохе в партии, узнавшей о своих лидерах нечто нелicenseприятное, во что им даже сначала не хотелось верить.

«Кадетские» эксперты, – пишет Ефимовский, – не подозревали, что «пресловутое письмо» Милюкова было мною получено от самого «курьера», коему Милюков вручил его лично. Этим курьером был не кто иной, как заведовавший гражданской канцелярией при ставке Верховного Главнокомандующего Имперской Армии, а затем в той же должности при Особом Совещании Добровольческой Армии при ген. Деникине А. А. Лодыженский. Конфуз для кадетско-социалистического блока оказался «пирамидальным»¹ (т. е. сопоставимым по масштабу с египетскими пирамидами. – А. С.).

Опубликованный документ мне разыскать не удалось, но я позволю себе процитировать некоторые места из него по машинописной копии, изъятой при обыске у некоего Василия Алексеевича Касьянова, поскольку процитированные Ефимовским отрывки буквально совпадают с текстом оказавшейся у меня копии. Для меня здесь важна не юридическая сила документа, а его способность высветить зыбкость оснований наших исторических умозаключений. Надеюсь, что бо-

лее удачливый исследователь, заинтересовавшись текстом неавторизованной копии, захочет и сможет добраться и до первоисточника.

Итак, цитирую копию «покаянного» письма П. Н. Милюкова к П. Д. Долго-рукову, написанного, по словам Е. А. Ефимовского, осенью 1918 г.

«Того, что случилось, мы, конечно, не хотели... Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета, временную разруху в армии остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией...

Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за совершившееся лежит на нас, т. е. блоке партий Государственной Думы. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для переворота было принято вскоре после начала этой войны, Вы знаете также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля, начале мая наша армия должна была перейти в наступление и результаты сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство, вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования...

Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать свое согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть мое внутреннее состояние в настоящее время. История проклянет вождей так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю. Что же делать теперь, спросите Вы... Знаем, что спасение России в возвращении монархии, знаем, что все события последних месяцев ясно доказали, что ... часть населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие, голосующие за республику, делают это из страха. Все это ясно, но признать этого не можем. Признание – есть крах всего нашего дела; всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем. Противодействовать не можем. Соединиться с теми правыми, подчиниться тем правым, с которыми так долго и с таким успехом боролись, тоже не можем. Вот все, что могу сказать».

Удивительное признание! Крах всего леворадикального мировоззрения Милюков в злую для него минуту признать готов. Но «соединиться с правыми», «подчиниться правым», даже под угрозой гибели России, даже под угрозой гибели миллионов соотечественников (ведь гражданская война уже в разгаре), – это выше его сил. Партийные интересы для кадетов оказались выше интересов страны и народа. «С таким успехом» адвокатско-профессорская риторика побеждала в партийных сварах – и вдруг забыть об этих триумфах?! Нет, это невозможно. Невозможно публично признать ошибочными взгляды и лозунги, которые приносили тебе эстрадный или трибунный успех. Суть либеральной идеологии невозможно понять, если не учесть, что она творилась как бы на глазах экзальтированной публики и приноравливалась к её восприятию. Наблюдавшая изнутри кружок либеральных профессоров, группировавшихся вокруг будущего председателя Первой Государственной Думы и составивших позднее костяк кадетской партии С. И. Огнев в своих «Воспоминаниях» очень пронизательно отмечает: «Станным образом, несмотря на то, что лица, составлявшие Муромцевский кружок, были все вы-

дающиеся, крупные, известные ученые, с громкими именами, с создавшейся вокруг этих имен славою, сильного впечатления ни личностью, ни мыслями, которые они высказывали в своих оживленных беседах, они никогда не производили. Это были какие-то манекены, словно живые мертвецы. В них чувствовалось отсутствие живого национального чувства. Прежде всего, они были не русские люди; для них не было ни родины, ни национальных и религиозных традиций. Каждый из них говорил словно с трибуны»².

Много десятилетий спустя другой трибунно-эстрадный оратор из числа инициаторов февральской авантюры вынужден был с неохотой признать, что не только их средства, но и сами цели оказались негодными.

«Когда-то у Мережковских, – свидетельствует поэт В. А. Смоленский, – спросил я А. Ф. Керенского: Скажите, Александр Федорович, если бы завтра большевизм рухнул, какую бы Вы хотели для России свободу?» Он подумал и сказал: «Такую, как при Александре III». – За что боролись?!»³

Увы, но и этот «прозревший» в конце жизни, по свидетельству журналиста Генриха Боровика, больше всего сожалел о том, что в его руках в 1917 г. не оказалось такого мощного оружия, как телевидение. То есть опять не мысли о покаянии, а сожаления по поводу упорхнувшего «успеха».

Я не собираюсь нагнетать морализаторский пафос. Моя цель – понять, откуда у людей, явно не глупых и не циничных, но ни одного дня не управлявших даже адвокатской конторой, вдруг возникает такое сомнение и желание не только поучать опытных бюрократов, но и самим начать экспериментировать с великой страной, напрягающей силы в жесточайшей войне. Гносеологические истоки такого легкомыслия коренятся, я думаю, в самом характере научной рациональности, в непререкаемой уверенности, что всё можно познать как «вещь», как некий внешний «предмет» и что начитанность вполне компенсирует отсутствие опытного знания.

Декартовский идеал знания «ясного и отчётливого» оказался чрезвычайно продуктивным в отношении наук физико-математических, но весьма сомнительным применительно к гуманитаристике. Естествоиспытатель познаёт свой предмет извне. Гуманитарий – не столько извне, сколько изнутри. Он должен уметь с ним как бы «сродниться», «сораствориться». Ни о каких «ясных и отчётливых» границах в этом случае речи быть не может. Процесс познания в гуманитарной области неразрывно связан с процессом самопознания и самовоспитания.

Сошлюсь на фундаментальный труд Ивана Ильина «О сущности правосознания», целиком посвящённый раскрытию укоренённости процесса познания в самопознании. «Процесс познания, – настаивает философ, – совпадает здесь ... с процессом воспитания; познаваемое создается для познания и в познании так, что каждый успех в создании открывает познанию нечто новое, и каждый успех познания упрочивает дело самовоспитания... Это есть ... систематическая интуиция предмета, создаваемого в процессе самосовершенствования, или, что то же, – это есть «самопознание» в смысле Сократа»⁴.

Понимание того, что процесс познания должен быть неразрывно связан с самопознанием и с духовным возрастанием и что изменение взглядов – это норма,

а не свидетельство интеллектуальной или моральной ущербности, делают беспочвенными и самомнение, и утопическую «упертость». Но в XIX в. и в начале XX в. успехи естественных наук оказались столь ошеломляющими, что и у гуманитариев закружилась голова. Им тоже захотелось оказаться на волне «успеха». И казалось, что обеспечить «успех» может лишь подражание естественным наукам. Переболеть идеалами позитивизма было неизбежно. И ничто не предвещало того, что эта болезнь будет протекать в столь тяжёлой форме. Уже появление сборника «Вехи», казалось бы, свидетельствовало, что кризис назрел и скоро должно было начаться выздоровление. Но, видимо, прав оказался великий физик Макс Планк, как-то сказавший, что новые идеи и новые тенденции в познании побеждают не потому, что кого-то переубеждают, а потому, что прежнее поколение мыслителей биологически сходит со сцены, а приходящее ему на смену с лёгкостью усваивает истину.

К 1917 г. Россия уже вступила в такую фазу своего общественного и духовного развития, когда либералы-позитивисты должны были вот-вот сойти с исторической авансцены. Но им таки удалось перед своим уходом громко хлопнуть дверью. Монета встала на ребро. Авантюристы успели запустить в действие механизм, который привёл к результату, которого и сами инициаторы переворота, по их собственным словам, «конечно, не хотели».

Так почему же «желаемое» и «результат» так часто, особенно в политике, расходятся радикально? Почему подтверждается житейская мудрость поговорок: «Хотели как лучше, а получилось как всегда» или «благими пожеланиями мостится дорога в ад»? Вопрос этот сугубо философский. Дело не в том, что политики в отличие от шахматистов не умеют просчитывать свои действия на много шагов вперёд. Как раз напротив, когда политик начинает мыслить как шахматист, он и приходит к плачевному результату. Дело в том, что «желаемое» (идеал) нельзя мыслить в тех же категориях, в тех же формах, что и «действительное» (факты). У них разный «бытийный статус», их нельзя сопоставлять в одной и той же плоскости.

Однажды Шеллинг, размышляя о кантовской философии, высказал очень важную, очень богатую философскими перспективами мысль. «Я не собираюсь, – заявил он, – ни переписывать того, что написал Кант, ни дознаваться, что собственно Кант хотел сказать своей философией. Я желал бы выявить, что он, по моему разумению, должен был хотеть, коль скоро в его философии есть внутренняя связь»⁵. То есть Шеллингу важно было узнать не то, что Кант мог бы ещё сказать, остановившись в своём духовном развитии, а то, что он должен был хотеть, каким новым опытом он должен был обогатить свою личность, чтобы найти правильное направление развития своей личности, а вместе с ней и своей философии.

Много позднее, уже в начале XX в., поэт и мыслитель Поль Валери выразил эту мысль о сугубо личностном характере всякой теории со свойственной поэту лапидарностью. «Не существует теории, – твёрдо заявил он, – которая не являлась бы тщательно препарированным эпизодом некой автобиографии»⁶.

Понятно, что эта мысль у очень многих может вызвать протест. Но вспомним, что даже физики в XX в. признали, что результат «объективных» наблюдений невозможно описать иначе, как описывая процесс взаимодействия прибора с

внеположной реальностью. Реальность мы можем «увидеть» только сквозь призму того «магического кристалла», которым является прибор. Но тогда надо сделать и следующий шаг. Показания всякого прибора считывает «прибор второго порядка», т. е. человеческое сознание. А далее – нельзя не учитывать при этом взаимодействия сознания с «подсознанием» или, если угодно, с той «аурой», которая способна выявлять ценностное измерение реальности. Погружаясь всё глубже в стихию философского сознания, мы непременно обнаружим его теснейшую связь с сознанием художественным и религиозным. Подробно останавливаться на этом здесь не место, но следует упомянуть, что многие философы, в том числе и русские, такие как Павел Флоренский, Сергей Булгаков, Семён Франк и многие другие, этот факт отметили и описали.

Философия есть прежде всего искусство духовного возрастания, и не так важно, наука, поэзия или религия задала первоначальный импульс процессу возрастания. Важно то, что на вершинах мысли все эти якобы автономные области оказываются в тесном взаимодействии. «Всякий истинный поэт, – свидетельствует уже упомянутый Поль Валерии – в гораздо большей степени способен логически рассуждать и отвлеченно мыслить, нежели то обычно себе представляют. Однако действительную его философию искать следует отнюдь не в его более или менее философских формулировках. Подлинное содержание философии обнаруживается ... не столько в предмете нашего размышления, сколько в самом акте мысли... Лишите метафизику всех ее излюбленных специальных терминов, всего ее традиционного словаря, и вы убедитесь, возможно, что мысль вы нисколько не обеднили. Напротив, вы, быть может, лишь высвободите, освежите ее и при этом избавитесь от чужих проблем, чтобы сосредоточиться ... на своих личных, никем не подсказанных вопрошаниях»⁷.

В свете вышесказанного, я думаю, становится понятнее, почему для либералов-позитивистов деперсонализация мысли, и прежде всего политической мысли, имело столь принципиальное значение. Милюков не уставал повторять и пропагандировать свой главный программный лозунг: дело не в личностях, а в институтах. Эта «спекуляция на понижение», по выражению русского философа Бориса Петровича Вышеславцева, эта ориентация на познание в человеке и в общественной жизни прежде всего низших, инерционных, «опредмеченных» её сторон чрезвычайно характерно для всего поколения политиков, совершивших в марте 1917 г. государственный переворот. И это произошло как раз тогда, когда Россия стояла на пороге смены поколений. В политику должны были прийти люди другого калибра, личности иного масштаба, а не просто носители иных политических ориентаций. На смену безрелигиозным позитивистам должны были прийти люди, глубоко осознавшие, что религия несёт в себе мощный потенциал совершенствования жизни во всех её проявлениях. «Религиозность, – пишет философ Иван Ильин, один из ярких представителей этого нового поколения, – состоит всегда в том, что нечто испытывается как **совершенное**. Она начинается там, где душа выходит из состояния **безразличия** и различает между «лучше» и «хуже» ... религия есть **пафос совершенства**»⁸.

Этому поколению мыслителей, деятелей культуры, политиков не повезло. Значительная часть лучших представителей этого поколения была истреблена в ходе гражданской войны или выброшена в эмиграцию. И, пожалуй, один из самых значительных источников сведений об этом поколении политиков и мыслителей — это фонд евразийца П. Н. Савицкого, хранящийся в Государственном Архиве Российской Федерации. С его помощью мы и постараемся понять, что это были за люди, чего они хотели и что они оставили нам в наследство.

Евразийство в контексте почвенической традиции

Когда на Всемирной выставке 1889 г. в Париже французские банкиры увидели своими глазами привезённый туда метровый кубик курского чернозёма, то их это больше, чем что-либо другое убедило в неисчерпаемой кредитоспособности России. И финансовые потоки хлынули на Восток, ускоряя и строительство транссибирской магистрали, и впечатляющий промышленный подъём, сорванный «бессмысленным» Февралем 1917 г., за плечами которого вскоре уже замаячил «беспощадный» Октябрь.

Разумеется, слово «почва» в отношении к духовной культуре выступает в своём фигуральном значении. Но такой смысловой сдвиг вполне оправдан. Как справедливо заметил Георгий Федотов, «хлеб может быть священным символом культуры, комфорт – никогда»⁹. Таким же свойством священного символа может обладать и слово «почва», ибо оно высвечивает нашу интуитивную уверенность в том, что духовную культуру следует не строить, но только возвращать.

Тот же Федотов напоминает нам и о других смысловых связях и смысловых излучениях данного слова. «Испания, – пишет он, – давно, конечно, не мечтает о мировой Империи времен Карла Пятого. Но она никогда не забудет о легендарных днях Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега. Веками она будет жить в воспоминаниях, и, если аскетический труд подготовит удобренную почву, почему не настать тому дню (Испания может надеяться), когда таинственная, непокупаемая благодать ... оросит дождем ее изжаждавшуюся землю»¹⁰.

Почва – это не просто земля, но земля под родным небом. И чтобы она стала плодородной, небесная благодать должна излиться не только на неё, но и на нас самих.

Оказавшись на чужбине, основоположник евразийства князь Николай Трубецкой в письме к другу юности Ф. А. Петровскому в сентябре 1921 г. обескураженно признаётся в неожиданно свалившемся на него творческом бесплодии. «Здесь на Балканах, – пишет он, – по части науки совсем плохо, и я здесь томлюсь и стремлюсь куда-нибудь перебраться, но боюсь, что такой интенсивной умственной жизни, которой я жил в Москве и которая, судя по твоему письму, опять там возрождается, я нигде не найду. А работать в одиночестве трудно, дорого я бы дал, чтобы присутствовать на заседаниях московских ученых обществ! И не только для того, чтобы видеть знакомые лица и слышать знакомые голоса, привычные и бесконечно близкие, но и для того, чтобы в общении с настоящими людьми, которые теперь есть только там, почерпнуть силы для научного творчества, начинающего иссякать во мне. За все время (больше года) жизни здесь я придумал

только две несчастные этимологии... А в России ... мне лингвистические комбинации приходили в голову каждый день, так что некогда было записывать»¹¹.

Тут важно подчеркнуть, что и идеи евразийства вынашивались и вызревали в основном в животворной московской среде. И Трубецкой в том же письме с благодарностью вспоминает «нашу компанию, в которой все эти мысли высказывались (и не одним мной), но систематически, насколько помнится, никогда не обсуждались»¹².

Предреволюционная Москва цвела религиозно-философскими, научными и художественными сообществами, и на её примере просто физически ощущаешь, как быстро наращивался плодоносный почвенный слой «канунной» русской культуры. Яркую характеристику культурной жизни Москвы того времени даёт, например, в своих воспоминаниях Андрей Белый. «Мобилизовались, – пишет он, – идейные силы Москвы; в перестрелке, в боях, в столкновениях вычеканивалась многогранная, новая, утонченная культура, которая скоро уже стала воздухом совершенно естественным. Лишь потом, выключаясь из этой культуры, живя за границей, с удивлением узнавал, что обычная атмосфера идейной Москвы, круг ее идей, интересов и вкусов, конечно же, превышает столь многое, что меня окружало позднее на Западе. Люди Запада, полагавшие, что Москва есть «Московия», не имели ведь представления о единственной в своем роде «московской культуре»¹³.

Забегая вперед, придётся согласиться с тем, что нынешняя повсеместная и огульная критика евразийства во многом справедлива, но она слепа и глуха в отношении главного. А главное в евразийстве – это открытие сопоставимости творческих потенциалов России и Запада в целом.

И хотя эта сопоставимость даже в то время ещё не могла быть со всей наглядностью подтверждена внешними фактами, внутренние ощущения или интуиции самих участников творческого процесса говорили именно об этом. Но уже и многие факты, доступные внешнему наблюдению, также подтверждали, что культурный экспорт и культурный импорт России становятся более сбалансированными. Триумфальные Русские сезоны в Париже, успехи русской науки и опережающие темпы экономического развития многим прочищали мозги.

Новые реалии требовали пересмотра стратегии развития. Необходимо было во главу угла ставить уже не подражательство, а творчество. Только такая духовная переориентация обещала мобилизацию творческих ресурсов и возможность прорыва по всем направлениям.

Суть евразийства невозможно понять, если оставить без внимания тот решающий факт, что оно зародилось в самом верхнем слое молодой творческой элиты. Причём немаловажно, что евразийство возникло именно на пересечении двух элит – сословной и творческой. То есть в данном случае мы имеем результат удачного соединения и даже слияния опыта просвещения и опыта воспитания творческой личности.

Современные критики евразийства правы в том и только в том, что тот почвенный слой, тот культурный чернозём, который нарабатывался в России веками, теперь оказался стёртым, и нас теперь можно уподобить булыжнику, летящему в космосе. Ибо, скажем, на планете Земля почвенный слой составляет всего какую-

то стомиллионную часть её объёма, и утрата его никакими телескопами не может быть зафиксирована. Но ведь вместе с этим тончайшим слоем «пыли» уничтожается основа не только для человеческой цивилизации, да и для всего цветущего многообразия растительного и животного царства.

Критики правы в том, что сегодня перед нашими глазами совершенно другие реалии. То, что было очевидно для творческого ума человека начала XX в., совершенно недоступно нашему восприятию и объявляется мифом и самообманом. Но собственная слепота не даёт право культивировать её в других. Демократ до мозга костей Г. П. Федотов, наблюдая процесс демократизации культуры в России, вдруг осознал, какую важную, ничем не заменимую функцию играет в обществе аристократия. И не только так называемая «аристократия духа», но и сословная аристократия в привычном её понимании. Она призвана видеть «незримое очами», и в меру своих возможностей она выполняет эту функцию. С устранением этих «бездельников» общество слепнет, общество утрачивает способность восприятия глубинных процессов в духовной сфере.

«Демократизация культуры, – пишет Федотов о положении культуры в СССР, – приобретает зловещий характер. Широкой волной текущая в народ культура перестает быть культурой. Народ думает, что для него открылись все двери, доступны все тайны, которыми прежде владели буржуи и господа. Но он обманут и обворован. Господа унесли с собой в могилу – не все, конечно, ключи, – но самые заветные, от потайных ящиков с фамильными драгоценностями... В старой, полудворянской России «кухаркин сын», пройдя через школу, мог овладеть той культурой, которая сейчас в рабоче-крестьянской России ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала юного варвара, в нее вступавшего, лучше всякой школы и книг. Без этой среды, без воздуха культуры школа теряет свое влияние, книга перестает быть вполне понятной»¹⁴.

И далее Федотов формулирует задачу, ту стратегию на много десятилетий, если не столетий, вперёд, без осуществления которой России грозит историческое небытие. «Создание элиты, или духовной аристократии, – пишет он, – есть задача прямо противоположная той, которую ставила себе русская интеллигенция. Интеллигенция нашла готовым культурный слой, главным образом дворянский по своему происхождению и отделенный от народа стеной полного непонимания. Она поставила своей целью разрушить эту стену любой ценой, хотя бы ценой уничтожения самого культурного слоя, ради просвещения народа. Опустился самим, чтобы дать подняться народу, – в этом смысл интеллигентского «кенозиса», или народничества»¹⁵.

Федотов покаянно признаёт ошибочность этого интеллигентского подхода к культуре. Признаёт свою вину в том, что необдуманно сам участвовал в выработке этой ошибочной стратегии развития и призывает советскую интеллигенцию не повторять прошлых ошибок. «Мы, – признаётся он, – проглядели ценность и вечность духовной иерархии... В отсталой стране нужно начинать с Академии наук, а не с народной школы... Поставить творчество впереди просвещения... Единственный смысл существования нации – в ее творчестве»¹⁶.

Процитированные строки опубликованы Федотовым в 1939 г., когда классическое евразийство уже сошло с исторической сцены, но тем более знаменательно, что признанный идейный вождь демократической интеллигенции признал необходимым воздать должное этому ошельмованному в демократических кругах движению. Подытоживая в 1938 г. скромные заслуги русской эмиграции, он пишет: «Я не забываю, что кое-что эмиграция все-таки дала... Это новое исчерпывается несколькими книгами религиозной философии и – евразийством»¹⁷.

Немного истории

Начало евразийскому движению положили споры в узком кругу русских эмигрантов (в Софии в 1921 г.) по поводу вышедшей в 1920 г. брошюры Н. С. Трубецкого «Европа и человечество». В этой брошюре автор резко акцентировал то сковывающее влияние, какое оказывает на сопредельные культуры чрезмерно идеологизированная романо-германская культура. В этой брошюре, а также в последовавших за ней работах Трубецкой отмечал внутренне присущую агрессивность этой культуры, выразившуюся в идеологии европоцентризма. Подпадающие под влияние этой идеологии сопредельные культуры заболевают комплексом неполноценности и ставят себе ложную задачу «догнать» Запад. Для этого оказывается необходимым, чтобы «отсталые» народы создавали у себя слой «стопроцентных» европейцев, что неизбежно приводит к чрезмерному растягиванию социальной структуры и к созданию дополнительных напряжений. В стремлении догнать Запад «отсталые» народы по необходимости ставят себе внешние и узкие цели, по достижении которых обнаруживается ещё большее отставание в других областях. Развитие идёт рывками, нарушая естественный для данного народа ритм движения, что приводит в конечном итоге к истощению энергии народа. Кроме того, западническая установка способствует формированию позитивистского мировоззрения, привычки обращать внимание на внешние достижения цивилизации, а не на приводящие к этим достижениям внутренние творческие процессы. Это и приводит к недооценке творчества и к болезни подражательства. А результат всего этого – деградация культуры.

Последовавшие за данной брошюрой евразийские сборники привлекли внимание эмигрантской молодежи именно выраженной в них верой в безграничные потенции русской культуры. И эта вера вовсе не была слепой. Трудно себе представить более жёсткую критику реальной истории русской культуры, чем та, которая была высказана евразийцами. Недаром позднее, откликаясь на вышедшую в 1937 г. книгу Г. Флоровского «Пути русского богословия» (в которой автор как бы подытожил свои размышления периода евразийских споров), Бердяев заявил, что книга эта заслуживает скорее названия «Беспутство русского богословия».

Анализируя причины русской катастрофы 1917 г., евразийцы главный корень их видели не в происках подрывных партий и внешних сил, а в безответственности творцов русской культуры, в их порочном подражательстве и недооценке самобытности. Поэтому, не принимая коммунистического режима, евразийцы резко выступили против реставраторских, контрреволюционных попыток. Нельзя реставрировать то, что уже один раз привело к катастрофе. Без покаянного подви-

га, без переоценки своего духовного пути, без очищения и без переориентации с подражательства на творчество любые попытки лишь политических преобразований ни к чему хорошему не приведут.

«Для евразийцев, – писал в 1925 г. Н. С. Трубецкой, – самым важным является именно изменение культуры; изменения лишь политического строя или политических идей без изменения культуры евразийством отмечается как несущественное и нецелесообразное»¹⁸.

К сожалению, евразийцам не удалось удержаться на уровне первоначально поставленных задач. В 1924 г. проникшим в движение агентам ГПУ удалось соблазнить евразийцев утопической перспективой влиять на внутрироссийские процессы. Их убедили, что их идеи пользуются в СССР большой популярностью среди военной и комсомольской молодежи и что им необходимо переориентировать свою деятельность на идеологическую обработку этой молодежи в духе евразийства. Переориентация на пропагандистские цели понизила теоретический уровень разработок и привела к расколу в движении, а возникшее в 1928 г. в Париже пробольшевистское крыло окончательно скомпрометировало движение в глазах русских эмигрантов.

Подводя итоги, следует сказать, что, хотя катастрофа 1917 г. привела к резкому снижению творческого потенциала России и ни о каком соревновании с Западом «на равных» сегодня не может быть и речи, всё же в отдалённой перспективе евразийские идеи могут вновь стать актуальными. Эти идеи можно условно разделить на три группы:

1. Идеология подражательства неизбежно порождает чувство «второсортности» и не позволяет полностью развить творческий потенциал нации.

2. Именно в целях высвобождения творческих потенциалов миру неизбежно придётся отказаться от моноцентричности. Но отказ от моноцентричности не должен привести к бесструктурной аморфности. Мир неизбежно будет структурироваться таким образом, что возникает лишь несколько культурно-исторических миров, обладающих относительной автаркией и своей собственной системой ценностей.

3. Есть основания полагать, что в будущем войны будут вестись не только за территории и не только за сырьевые ресурсы, а за качество человеческих ресурсов. Чтобы наша страна не стала помойкой для промышленных отходов и человеческих отбросов, необходимо все силы направить на укрепление не столько военного, сколько культурного потенциала страны. Только культуроцентрическое мировоззрение будет способствовать формированию полноценных политических, хозяйственных и культурных элит. Поскольку, как утверждает современная наука, сумма порядка и хаоса есть величина постоянная, то борьба, по всей видимости, будет сводиться к попыткам вытеснить хаос на чужую территорию, чтобы создать на собственной территории оптимальные условия для ускоренного и гармонического развития.

Евразийство как культуроцентрическое мировоззрение

Если попытаться выявить доминанту в сложном комплексе евразийских идей и в одной фразе охарактеризовать евразийство, то, видимо, самым удачным будет определение его как культуроцентрического мировоззрения.

Такое определение не только высвечивает суть евразийства, но, что особенно важно, встраивает его в исторический контекст и открывает перспективу для его плодотворного изучения.

Идейно-духовную ситуацию в России конца XIX – начала XX вв. можно рассматривать как сложный и болезненный процесс вытеснения с господствующих позиций социоцентрического мировоззрения и формирования нового – культуроцентрического, в качестве одного из вариантов которого и следует рассматривать евразийство.

Начиная с 60-х гг. XIX в. социальная проблема в идейной жизни России господствовала почти безраздельно. Никто не посмеет оспорить важность процессов социального преобразования, но «социальная упёртость» интеллигенции неизбежно вела её к почти полной дисквалификации, к неспособности выполнять её основную работу.

Социально-политический активизм интеллигенции последней трети XIX в. в немалой степени, видимо, диктовался поиском алиби, поиском оправдания безделью в зоне своей основной ответственности, а также чувством своей творческой несостоятельности. Иначе нельзя объяснить тот факт, что эта «культурная беспочвенность», этот отрыв от источников творческого вдохновения, эта «бескрылость» интеллигенции не только не переживалась как личная трагедия несостоявшегося творца, но усиленно оправдывалась и насаждалась.

Степень интеллигентского одичания в указанный период ярко иллюстрирует статья В. В. Розанова 1916 г., в которой он, ссылаясь на свидетельство очевидца и на свои собственные воспоминания, пишет: «Рок ... духовной тупости ... несли на себе все эти Зайцевы, Скабичевские, Протопоповы... Под влиянием этих критических скуратовых совершилось то, что, например, в семидесятых и половине 80-х годов прошлого века сочинения Пушкина нельзя было найти в книжных магазинах. Я помню эту пору: в магазинах отвечали – «не держим, потому что никто не спрашивает!». Г-н Абрамович повторяет то же о более ранней эпохе, которую он помнит: «Русское художество травили, вырывали ростки, заглушали начинания, причем дело этого заматывания поручали именно тем глухим и слепым в области литературы, которые в силу своей идейной и художественной слепоты, своего литературного кретинизма и могли быть литературными палачами.

Пишущий эти строки помнит удушье – подлинное удушье 90-х годов, когда каждый, кто чаял движения не одной только политической мысли, но также и широких областей духовной культуры, художественной, интимно-философской, задыхался, потому что невозможно было вдохнуть глотка воздуха, свободного от засилия нашей средней, лишенной вдохновения, жертвенности и огня радикальности. Мы боролись, с одной стороны, и были тюремщиками, с другой. Мы возжигали свет в одной области и тушили в другой. Закрывать на это глаза, молчать

об этом – может только трусливая бездарность, не верящая в свободное развитие русской культуры»¹⁹.

Только в такой атмосфере, «спекуляции на понижение» (по выражению философа Б. П. Вышеславцева) и смог, например, С. Я. Надсон стать первым поэтом, на книжки которого в библиотеках записывались на полгода вперёд.

Евразийство не смогло бы возникнуть, если бы в русской интеллигенции не зародилась прослойка людей с совершенно иной душевно-духовной структурой. Одним интеллектуальным усилием культуроцентрическое мировоззрение создать было невозможно. И в деле воспитания новой интеллигенции – интеллигенции, **укоренённой в культуре**, а через неё и **в религии**, – заслугу предшественников, и прежде всего «веховцев», невозможно переоценить.

Поскольку «веховцы» сами в большинстве своём были выходцами из рядов радикальной интеллигенции, постольку им легче было найти путь к сердцам своих бывших единомышленников. Нужно было не отрицать политику, а саму политику превратить из сферы борьбы в сферу государственного творчества, и тогда взорам интеллигентов открылись бы задачи такого масштаба, что им быстро пришлось бы распрощаться с ничем не оправданным чувством собственного превосходства и скромно заняться лишь теми аспектами общего дела, которые оказались бы им по плечу.

Можно согласиться с С. Л. Франком, который подчёркивает, что именно П. Б. Струве удалось впервые внести в интеллигентское сознание совершенно новую, не слыханную до той поры ноту.

«Эту ноту, – пишет Франк, – я мог бы определить как **государственное** сознание. Оппозиционное и в особенности радикальное, общественное мнение ощущало себя угнетенным властью и совершенно отчужденным от нее. Государственная власть – это были «они», чуждый и недоступный элемент двора и бюрократии, который мыслился как группа корыстных и умственно ограниченных властителей над подлинной, народной и общественной Россией. «Им» противостояли «мы» – «общество», «народ» и прежде всего «каста» интеллигенции, озабоченная благом народа и посвятившая себя служению народу, но по своему бесправному положению способная только критиковать власть, будить оппозиционное настроение и тайне готовить переворот. П. Б. – отчасти, вероятно, по своему происхождению из дворянско-бюрократической семьи (отец его был губернатором), отчасти по внутреннему призванию к политической мысли – нес в себе и проявлял с самого начала зародыш совершенно иного, именно ответственного, положительного, творческого политического образа мыслей, отчетливо выделявшегося от обычного ... рабского сознания (которому суждено было – увы! – практически восторжествовать и определить судьбу России). Он рассуждал всегда о политике, можно сказать, не «снизу», а «сверху», не как член поработанного общества, а сознавая себя потенциальным участником положительного государственного строительства... Это есть, конечно, единственно здоровое и плодотворное политическое сознание»²⁰.

Но если для поколения «веховцев» такое политическое самоощущение было внове, то уже для поколения евразийцев оно приобрело силу привычки. Новое поколение не было развращено «подпольем» (в котором, по меткому замечанию на-

шего современника, «живут только крысы»), и их не доводила до истерики мнимая косность и неподатливость государственной машины. Напротив, на протяжении всей их сознательной жизни политический процесс в России развивался даже слишком быстрыми темпами, и им становились осязательно ясными малые возможности и второсортность политической деятельности в традиционном её понятии. Не подпольщики, парламентарии и бюрократы принимают важнейшие решения касательно **высвобождения и роста жизненного потенциала нации**. Большая политика, определяющая в конечном итоге конфигурацию политических сил на мировой арене, творится в не меньшей степени в научных лабораториях, концертных залах и мансардах поэтов. Если, например, империя на евразийском континенте была создана первоначально татарской саблей, то впоследствии именно религиозно-культурный перевес славяно-финно-угорских народов обеспечил постепенное перемещение её жизненного центра из Сарая в Москву²¹. В то время как П. Б. Струве, претерпев громадную идейно-политическую эволюцию, всё же ощущал себя лишь «**потенциальным** участником положительного государственного строительства», то будущие евразийцы с юных лет ощущали себя здесь центральными фигурами, ответственными за будущее России.

Ни в ком из будущих евразийцев не было и следа от того классического русского «интеллигента»; чьими отличительными признаками, по словам Г. П. Федотова, были «**идейность и беспочвенность**». Они не иссушали свою душу мечтами о том, что они сделали бы, окажись они на месте начальства. Их интеллектуальная высокопрофессиональная работа была непосредственно связана с практикой, которую они считали политически значимой и важной для будущего России. И, что не менее важно, все они через семейно-родственные узы были теснейшим образом связаны с историей страны и с важнейшими сферами её текущей жизнедеятельности.

Изучение евразийского движения поучительно прежде всего тем, что оно делает понятным, какого масштаба личности были готовы взять на свои плечи ответственность за будущее России и какие перспективы эта смена поколений открывала перед страной. Ощущение этих открывавшихся перспектив лучше всего выражают стихи Анны Ахматовой:

Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть ...

Личная трагедия евразийцев состояла в том, что революционная катастрофа поставила Россию перед лицом проблемы не **развития** творческого потенциала нации, а всего лишь **мобилизации** тех остатков ресурсов, которые ещё сохранились. Не **культуроцентрическое мировоззрение**, а **мобилизационная идеология** была поставлена историей страны в повестку дня. Поэтому-то ГПУ так сравнительно легко удалось отвлечь евразийцев от исследования глобальных проблем

взаимодействия различных культур и соблазнить сомнительной перспективой участия их во внутрироссийских идеологических процессах.

Поэтому всё написанное евразийцами начиная с 1924 г. нельзя рассматривать как адекватное выражение их мировоззрения, а нужно корректировать и интерпретировать с учётом указанной их переориентации.

«Мы, – пишет Трубецкой в исповедальном письме к Савицкому от 8-10 декабря 1930 г. уже спустя два года после своего разрыва с евразийством, – представители европейско-русской культуры. Культура эта в настоящее время умирает и в СССР заменяется новой, тоже русской, но во всяком случае не европейско-русской. Примкнуть к этой новой культуре мы не можем, не перестав быть самими собой. Работать на старую культуру – нецелесообразно, так как те масштабы, к которым стремились мы, совершенно не соответствуют современному масштабу этой умирающей культуры. Что же делать? – Думаю, что не остается ничего другого, как выйти за пределы национально-ограниченной европейско-русской культуры и (*volens-nolens*) работать на культуру общеевропейскую, притязующую на звание общечеловеческой. Другого ничего не остается. Разумеется, нельзя при этом заставить себя приобщаться к тем ее сторонам, которые нам, русским, органически чужды, – но в области интеллектуальной культуры, в частности, науки никаких преград нет, и в этой области мы прямо и должны влиться в ряды европейских ученых»²².

Чрезвычайно интересны и поучительны оценки Трубецкого теоретических результатов евразийской мысли. Не отказывая ей в проницательности, он отмечает чрезмерную прямолинейность и перехлёсты евразийской теоретической мысли периода увлечения политической злобой дня, а также чрезвычайный вред сокращения дистанции между «лабораторными» разработками и пропагандой. И эти его критические замечания прежде всего касаются печально известной евразийской идеи «идеократии», к разработке которой сам Трубецкой приложил немалые усилия, замыслив её сначала как идею культурократии, а затем сузив её содержание и низведя её до уровня политического рецепта.

«Мы, – признаётся Трубецкой, – оказались великолепными диагностами, неплохими предсказателями, но очень плохими идеологами, – в том смысле, что наши предсказания, сбываясь, оказываются кошмарами. Мы совершенно верно поняли, что государственный строй современности и ближайшего будущего есть строй идеократический. Но как всмотришься пристальнее в конкретные воплощения этого строя, так приходишь к заключению, что это не идеал, а полнейший кошмар, причем очень сомнительно, чтобы такой строй и впредь мог стать чем-нибудь иным... Сталин – не случайность, а тип, могущий быть выведен из понятия идеократии чисто дедуктивным путем. Перемена содержания дела не изменит. Сталин останется Сталиным, безразлично, будет ли он действовать во имя Православия. В последнем случае он, может быть, будет еще опаснее для Церкви, чем сейчас. Словом, будучи по-прежнему убежден, что идеократия есть единственно возможный в настоящее время государственный строй, я в то же время вижу все глубокие органические недостатки этого строя и не могу относиться к нему с энтузиазмом, – а потому не могу и проповедовать его... Проповедовать европейцам

идеократию – значит проповедовать коммунизм, – а на это ни у кого из нас рука не поднимется»²³.

Почвенническая установка оправданна и плодотворна только в том случае, когда под почвой понимается тысячелетняя духовная культура и когда она нацелена на всемерное развитие этой культуры. Когда же горизонт сужается до политической злобы дня, то возникает реальная опасность идеологизации символа «почвы» и превращения его в инструмент политической мобилизации.

О том, что евразийство как культуроцентрическое мировоззрение оказалось надёжным противоядием против националистических соблазнов, ярче всего говорит тот факт, что евразийцы раньше очень многих разглядели антикультурную суть германского фашизма и его опасность для самого германского народа. И это при всём при том, что многие в демократических кругах пытались навесить ярлык фашизма и на евразийцев (см., например, рецензию Ф. А. Степуна на «Евразийский временник» 1923 г.²⁴).

В письме к П. Н. Савицкому от 12 июля 1933 г. Н. С. Трубецкой пишет: «Нормальный, здоровый народ никогда не будет настаивать на том, что он принадлежит высшей расе и что другие народы, с которыми он имеет дело, стоят ниже его. Если такая навязчивая идея своего превосходства у народа появляется, это есть всегда доказательство того, что не все в порядке... <такой> народ в глубине души чувствует себя ниже своих соседей в культурном или каком-нибудь ином отношении и старается «перекричать» это свое ощущение, убедить самого себя в том, что он выше и лучше всех. Все эти психологические комплексы создаются исторически, исторически же изживаются и б. ч. приводят к самым плачевным последствиям... У немцев такой ... многовековой комплекс по отношению к романцам. Ведь не надо забывать, что современные немцы — потомки тех германских племен, которым не удалось завоевать Галлию и Италию: германцы, завоевавшие Галлию и Италию, быстро романизировались и слились с теми романизованными галлами и средиземноморцами, культурное превосходство («престиж») которых германцы ощущали испокон веков... Такой «компенсаторный» элемент имелся всегда и в русском национализме... Евразийство ставило себе задачу преодоления частнонародного национализма (по крайней мере, так понимал дело я, когда писал об общевразийском национализме).

Частнонародный национализм по природе своей антисоциален. Кроме того, он, так сказать, антигеографичен и антиисторичен, ибо всегда острием своим направлен против соседей, с которыми в силу исторически сложившихся обстоятельств данному народу приходится уживаться...

Вскрытие истинной природы и подсознательных мотивов такого национализма дает указание на единственный возможный вид его преодоления. Это – идея союза народов по признаку единства исторической судьбы, совместной культуры и месторазвития. Такой союз предполагает соответствующее перевоспитание народов, что и должно явиться задачей государственных деятелей, ученых, писателей и т. д.»²⁵.

Евразийство не смогло исполнить всех поставленных им перед собой задач. Их политические идеи оказались в большинстве своём ошибочными и неплодо-

творными. Но думается, что как культуроцентрическое мировоззрение и как своеобразный вариант «почвенничества» евразийство ещё нескоро утратит свою актуальность.

¹ *Ефимовский Е. А.* Статьи. – Париж, 1994. – С. 135.

² *Огнева С. И.* Полвека моей жизни. Воспоминания // РГАЛИ. Ф. 629. Ед. хр. 1270. Л. 168.

³ *Смоленский В. А.* Воспоминания // Цит. по: Возвращенный мир. – Т. 1. – М., 2004. – С. 479.

⁴ *Ильин И. А.* Собр. соч. – Т. IV. – М., 1994. – С. 406.

⁵ Цит. по: *Соловьев Э. Ю.* Категорический императив нравственности и права. – М., 2005. – С. 9.

⁶ *Валери Поль.* Об искусстве. – М., 1976. – С. 407.

⁷ Там же. – С. 428–429.

⁸ *Ильин И. А.* Собр. соч. – Т. IV. – М., 1994. – С. 397.

⁹ *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. – Т. 2. – М., 1991. – С. 201.

¹⁰ Там же. – С. 202.

¹¹ РГАЛИ. Ф. 1348, оп. 7. Ед. хр. 70. Л. 1.

¹² Там же. Л. 2.

¹³ Там же. Ф. 53, оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 139.

¹⁴ *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. С. 207–208.

¹⁵ Там же. – С. 211–212.

¹⁶ Там же. – С. 213–216.

¹⁷ Там же. – С. 194.

¹⁸ *Трубецкой Н. С.* Мы и другие // *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык. – М., 1995. – С. 352.

¹⁹ *Розанов В. В.* О писательстве и писателях. – М., 1995. – С. 634–635.

²⁰ *Франк С. Л.* Биография П. Б. Струве. – Нью-Йорк, 1956. – С. 75–76.

²¹ Эта иллюстрация, впервые набросанная в рецензии П. Н. Савицкого на брошюру Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» (в первом номере журнала «Русская мысль» за 1921 г.), а затем расцвеченная в работах Н. С. Трубецкого и Г. В. Вернадского, стала как бы основной моделью для построения евразийских историософских концепций.

²² ГАРФ. Фонд П. Н. Савицкого, № 5783.

²³ Там же.

²⁴ *Стенун Ф. А.* Рец. на Евразийский временник. Книга третья. 1923 // Современные записки. – Париж, 1924. – № 21. – С. 407.

²⁵ ГАРФ. Фонд П. Н. Савицкого, № 5783.